## Земляки

Автор: *Шукшин В.М.*

Ночью перепал дождь. Погремело вдали... А утро встрях, выгнало из туманов светило; заструилось в трепетной мокрой листве текучее серебро. Туманы, накопившиеся в низинах, нехотя покидали землю, поднимались кверху.

Стариковское дело -- спокойно думать о смерти. И тог-то и открывается человеку вся сокрытая, изумительная вечная красота Жизни. Кто-то хочет, чтобы человек напоследок с болью насытился ею. И ушел.

И уходят. И тихим медленным звоном, как звенят теплые удила усталых коней, отдают шаги уходящих. Хорошо, мучи хорошо было жить. Не уходил бы!

Шагал по мокрой дороге седой старик. Шагал покосить травы коровенке.

Деревня осталась позади за буграми. Место, куда направ он, называлось кучугуры. Это такая огромная всхол долина -- предгорье. Выйдешь на следующий бу -- видно всю долину. А долину с трех сторон обступили молчаливые горы. Вольный зеленый край. Здесь издавна бы покосы.

На "лбах" и "гривах" травы -- коню по брюхо. Внизу -- согры, там прохладно, в чащобе пахнет прелым. Там бьют из земли, из ржавой, жирной, светлые студеные ключи. И вкус та вода! Тянет посидеть там; сумрачно, и зябко, и грустно почему-то, и одиноко. Конечно, есть люди, которым не все равно: есть ты или нет... Но ведь... что же? Тут сам не пой: зачем дана была эта непосильная красота? Что с ней было делать?.. Ведь чего и жалко-то: прошел мимо -- торо, не глядел.

А выйдешь на свет -- и уж жалко своей же грусти, кажет, вот только вошло в душу что-то предрассветно-тихое, нежное; но возрадуешься, понесешь, чтобы и впредь тоже радоваться, и -- нет, думы всякие сбивают, забываешь радо.

Выше поднималось солнце. Туманы поднялись и рассея. Легко парила земля. Испарина не застила свет, она как будто отнимала его от земли и тоже уносила вверх.

Листья на березах в околках пообсохли, но еще берегли умытую молодую нежность -- жарко блестели. Огромную ти утра тонко просвистывали невидимые птицы.

Все теплей становится. Тепло стекает с косогоров в вол еще долины; земля одуряюще пахнет обилием зеленых своих сил.

Старик прибавил шагу. Но не так, чтобы уже в ходьбе ус. Сил оставалось мало, приходится жалеть.

Он ходил, ездил по этой дороге много -- всю жизнь. Знал каждый поворот ее, знал, где приотпустить коня, а где при, чтобы и он тоже в охотку с утра не растратился, а потом работал бы вполсилы. Теперь коня не было. Он по всех своих коней, какие у него перебыли за жизнь, мог бы рассказать, если бы кому-нибудь захотелось слушать, про характер и привычки каждого. Особенно жалко последнего: он не продал его, не обменял, не украли его цыгане -- он издох под хозяином.

Было это в тридцать третьем году. Старик (тогда еще не старик, а справный мужик Анисим Квасов -- Анисимка звали его) был уже в колхозе, работал объездным на полях. Случился тогда большой голод. Ели лебеду, варили крапиву, травились зимовалым зерном, которое подметали вениками на токах. Ждали нового урожая; надо было еще прожить лето. Вся надежда на коров: молоком отпаивали опухших детей.

И вот как-то, в покос тоже, пастух деревенский, слабый мужичонка, совсем ослаб, гоняясь за коровами, упал без сознания. Сколько он там пролежал, Бог его знает, говорил потом -- долго. Коровы тем временем зашли на клевер... Поздно вечером пригнал он их в деревню, раздувшихся, закричал первым встречным: "Спасайте, они клевера обожрались!" Что тут началось!.. Бабы завыли, мужики всполошились, схватили бичи и стали гонять коров по улицам. Беда пришла, стон стоял в деревне. Коровы падали, люди тоже задыхались, тоже падали. У Анисима был конь (когда Анисима определи­л объездным, ему дали из колхоза бывшего его собственно мерина Мишку); Анисим, видя такое дело, вскочил на Мишку и стал тоже гонять коров. Всю ночь вываживали ко. К утру Мишка захрипел под Анисимом и пал на перед­ни ноги. Сколько ни бился Анисим, мерин не вернулся к жизни. Анисим плакал, убивался над конем... Его обвинили во вредительстве, и он сидел месяца полтора в районной каталажке. Потом ничего, обошлось.

Вот наконец и делянка старика: пологая логовинка неда от дороги, внизу согра с ключом.

Солнце поднялось в ладонь уже; припоздал.

Наскоро перекусив малосольным огурцом с хлебом, ста отбил литовку, повжикал камешком по жалу.

Нет милее работы -- косьбы. И еще: старик любил косить один. Чего только не передумаешь за день!

Сочно, посвистывая, сечет коса; вздрагивает, никнет тра. Впереди шагах в трех подняла голову змея... И потекла по траве, поблескивая гибким омерзительным телом своим. Опять воспоминание: раз, парнишкой еще, ехал он на коне хорошей рысью. Внезапно, почуяв или увидев змею, конь прыгнул вбок. Анисимки как век не было на коне -- упал.

И прямо задницей на змею. Неделю потом поносило ("гвоз летело").

Память все выталкивает и выталкивает из глубины про жизни светлые, милые сердцу далекие дни. Так в мут, стоялой воде тихого озера бьют со дна чистые родники. Вот -- змеи... Был тогда на деревне дед Куделька. Он говорил ребятишкам, что за каждую убитую змею -- сорок грехов долой. А если змею бросить в огонь, то можно увидеть на брюхе ее ножки -- много-много. И ребятня азартно снимала с себя грехи. И жгли змей, и правда, когда она прыгала в ко, на брюхе у нее что-то такое мелькало -- белое, мелкое и много. Ребятишки орали: "Видишь! Вот они!" Все видели ножки.

До обеда, как трава совсем обсохла, старик косил. Со поджигало; на голову точно горячий блин положили.

-- Слава Богу! -- сказал старик, глядя на выкошенную плешину: отхватил изрядно. На душе было радостно.

Он пошел в шалашик, который сделал себе загодя, когда приходил проведать травы. Теперь можно хорошо, не торо поесть.

В шалаше теплый резкий дух вялой травы. Звенит где-то крохотная пронзительная мушка; горячую тишину наполняет неутомимый, ровный, сухой стрекот кузнечиков. Да с неба еще льются и скользят серебряные жавороньи сверлышки.

Хорошо! Господи, как хорошо!.. Редко бывает человеку хорошо, чтобы он знал: вот -- хорошо. Это когда нам плохо, мы думаем: "А где-то кому-то хорошо". А когда нам хорошо, мы не думаем: "А где-то кому-то плохо". Хорошо нам, и все.

Старик расстелил на траве стираную тряпочку, разложил огурцы, хлеб, батунок мытый... Пошел к ключу: там в воде стояла бутылка молока, накрепко закупоренная тряпочной пробкой. Склонился к ручью, оперся руками в сырой подат бережок, долго, без жадности пил. Видел, как по ржа дну гоняются друг за другом крохотные светлые пес.

"Как живые", -- подумал старик. С трудом поднялся, взял бутылку и пошел к шалашу. А там, у шалашика, сидит на пеньке старик в шляпе и с палочкой. Покуривает.

-- Доброго здоровья, -- приветствовал старик в шляпе. -- Увидел -- человек, присел отдохнуть. Возражений нет?

-- Чего ж? -- сказал Анисим. -- Давай сюда, тут все же маленько не так жарит.

-- Жарко, да. -- Старик в шляпе вошел тоже в шалашик, сел на траву. -- Жарковато.

"В добрых штанах-то... зеленые будут", -- подумал Анисим.

-- Хошь, садись со мной? -- пригласил он.

-- Спасибо, я поел недавно. -- Старик в шляпе внима смотрел на Анисима, так что тому даже не по себе ста. -- Косишь?

-- Надо. Нездешний, видно?

-- Здешний.

Анисим глянул на гостя и ничего не сказал.

-- Не похож?

-- Пошто? Теперь всякие бывают. -- Анисим захрумкал огурцом... И уловил взгляд гостя: тот смотрел на нехитрую крестьянскую снедь на тряпочке. "Хочет, наверно".

-- Подсаживайся, -- еще раз сказал он.

-- Ешь, тебе еще полдня работать. Робить.

-- Да хватит тут!

Городской старик снял шляпу, обнаружив блестящую лысину, придвинулся, взял огурец, отломил хлеба.

-- У тебя газеты нету? -- спросил Анисим.

-- Зачем? -- удивился гость.

-- Иззеленишь штаны-то. Штаны-то добрые.

-- А-а... Да шут с ними. Ax, огурцы!..

-- Што?

-- Объеденье!

-- Здешний, говоришь... Откуда?

-- Тут близко...

Не верилось Анисиму, что гость из этих мест -- непохоже действительно.

-- Сейчас-то я не здесь живу. Родом отсюда.

-- А-а. Погостить?

-- Побывать надо на родине... Помирать скоро. Ты из какой деревни-то?

-- Лебяжье. Вот по этой дороге...

-- Один со старухой живешь?

-- Ага.

-- Дети-то есть?

-- Есть. Трое. Да двоих на войне убило.

-- Где эти трое-то? В городе?

-- Один в городе, Колька. А девахи замужем... Одна в Чебурлаке, за бригадиром колхозным, другая -- та подальше. -- Не сказал, что другая замужем не за русским. -- Была Нин-то по весне. Ребятишки большие уж.

-- А Колька-то в каком городе?

-- Да он -- и в городе, и не в городе: работа у его какая-то непутевая, вечно ездит: железо ищет.

-- А какой город-то?

-- В Ленинграде. Пишет нам, деньги присылает... Так-то хорошо живет. Хочет тоже приехать, да все не выберется. Может, приедет.

Городской старик отпил немного молока, вытер платком губы.

-- Спасибо. Хорошо поел.

-- Не за што.

-- Косить пойдешь?

-- Нет, обожну маленько. Пусть свалится маленько.

-- Колька-то с какого года? -- спросил еще гость.

-- С двадцатого. -- Тут только Анисим подумал: "А чего это он выспрашивает-то все?" Посмотрел на гостя.

Тот невесело как-то, но и не так чтобы уж совсем печаль усмехнулся.

-- Вот так, земляк, -- сказал.

"Чудной какой-то, -- подумал Анисим. -- Старый -- чу-то".

-- Здоровьем-то как? -- все пытал городской.

-- Бог милует пока... Голова болит. У нас полдеревни го маются, молодые даже.

-- Из родных-то есть кто-нибудь? Братья, сестры...

-- Нет, давно уж...

-- Умерли?

-- Сестры умерли, брат ишо с той войны не пришел.

-- Погиб?

-- Знамо. Пошто с войны не приходют?

Городской закурил. Синяя слоистая струйка дыма потя к выходу. Здесь, в шалаше, в зеленоватой тени, она была отчетливо видна, а на светлой воле сразу куда-то дева, хоть ветерка -- ни малого дуновения -- не было. Звене кузнечики; посвистывали, шныряя в кустах, птахи; роня на теплую грудь земли свои нескончаемые трели хохлатые умельцы.

По высокой травинке у входа в шалаш взбиралась вверх божья коровка. Лезла упорно, бесстрашно... Старики загля на нее. Коровка долезла до самого верха, покачалась на макушке, расправила крылышки и полетела как-то боком над травами.

-- Вот и прожили мы свою жизнь, -- негромко сказал го старик.

Анисим вздохнул: до странного показалась знакомой эта фраза. Не фраза сама, а то, как она была сказана: так говорил отец, когда задумывался: с еле уловимой усмешкой, с легким удивлением. Дальше он еще сказал бы: "Мать твою так-то". Ласково.

-- Не грустно, земляк?

-- Грусти не грусти -- што толку?

-- Што-то должно помогать человеку в такое время?

-- У тебя болит, што ль, чего?

-- Душа. Немного. Жалко... не нажился. Не устал. Не го, так сказать.

-- Хэх!.. Да разве ж когда наживесся? Кому охота в ее, ма, ложиться.

-- Есть же самоубийцы...

-- Это хворые. Бывает: надорвется человек, с виду вроде ничего ишо, а снутри -- не жилец. Пристал.

-- И не додумал чего-то... А сам понимаю, глупо: что от было, давно все додумал. -- Городской помолчал. -- Жалко покоя вот этого... Суетился много. Но место надо ус. А?

-- Надо. Хэх!.. Надо.

-- А так бы и пристроился где-нибудь, чтобы и забыли про тебя, и так бы лет двести! А? -- Старик засмеялся весело. Что-то опять до беспокойства знакомое проскользнуло в нем -- в смехе. -- Чтоб так и осталось все. А?

-- Надоест, поди.

-- Да вот все никак не надоест!

-- А ты зараньше-то не думай про ее -- не будешь стра. А придет -- ну придет... Сколько там похвораешь! В неделю люди сворачиваются.

-- Да...

-- Ты вот вперед загадываешь, а я беспречь назад огляды -- тоже плохо. Расстройство одно.

-- Вспоминаешь?

-- Но.

-- Это хорошо.

-- Хорошо, а все душу тревожишь. Зачем?

-- Нет, это хорошо. Что же вспоминается? Детство?

-- Больше -- детство.

-- Расскажи чего-нибудь! Хулиганили?

-- Брат у меня был, Гринька, тот прокуда был. -- Анисим улыбнулся, вспомнив. -- Откуда чего бралось!.. И на войне-то, наверно, вперед других выскочил...

-- Что же он вытворял? -- живо заинтересовался город старик. -- Расскажи-ка... Пожалуйста, пока отдыхаешь.

-- Хэх!.. -- Анисим покачал головой, долго молчал. -- Шельма был. Один раз поймал нас у себя в огороде сосед наш, Егор Чалышев, ну -- выпорол. За дело, конечно: не па. Арбузишки-то зеленые ишо, мы их больше портили, чем ели. Ночью-то не видно: об коленку его -- куснешь, зе -- в сторону. Да. Выпорол с сердцем. Потом ишо отец добавил. Гриньку злость взяла. И чево придумал: взял пузырь свинячий -- свинью тогда как раз резали, -- растер его в золе... Знаешь, как пузыри-то делают?

-- Знаю.

-- Вот. Высушил, надул, нарисовал на ем морду страшен... -- Анисим засмеялся. -- Где он такую харю видал?.. Ну, дождались мы ночи, подкрались тихонько к Егору на крыль, привязали за веревочку к верхнему косяку пузырь тот... Утром Егор открыл дверь-то -- на улицу выходит, -- а ему прям в лицо харя-то эта глянула... Мужик чуть в штаны не наворотил. Захлопнул дверь да в избу. Да давай в трубу орать: "Караул! У меня черт на крыльце!"

Городской старик громко захохотал. До слез досмеялся.

-- Трухнул мужичок. А? Ха-ха!..

-- Да, так Егора потом и звали: "Егорка, черт на крыль!" А раз -- мы уж побольше были -- на покосе тоже... Миколай Рогодин -- хитрый был мужик, охотник до чужого -- и говорит вечером: "Гринька, -- говорит, -- подседлай какого-нибудь коня, хошь моева, дуй в деревню, насшибай кур у ко-нибудь. Курятинки охота". Гринька не долго думая под коня -- и в деревню. Через недолго время привозит пяток кур с открученными головами. Мы все радешеньки. Заварили их тут же... Ну и умели в охотку. А Миколай ел да прихваливал: молодец, мол, Гринька! А Гринька ему: "Ешь, дядя Миколай! Ешь, как своих".

Оба старика от души посмеялись. Городской закурил.

-- Поматерился же он потом!.. А што сделаешь? -- сам послал.

-- Да... -- Городской старик вытер глаза. Задумался.

Долго молчали, думая каждый свое. А жизнь за шалашом все звенела, накалялась, все отрешеннее и непостижимее об свою красу под солнцем.

-- Ну, пойду с Богом... -- сказал Анисим. -- Маленько вроде схлынуло.

-- Жарко еще...

-- Ничего.

-- Корову-то обязательно надо держать?

-- Как же?

Анисим взял литовку, подернул ее бруском. Поглядел на ряды кошенины -- неплохо с утра помахал. А городской ста смотрел на него... Внимательно. Грустно.

-- Ну, пойду, -- еще раз сказал Анисим.

-- Ну, давай, -- сказал городской. -- Ну и... прощай. -- Посмотрел еще раз в самые глаза Анисиму, ничего больше не сказал, пожал крепко руку и скоро пошел в гору, к дороге. Вышел к дороге, оглянулся, постоял и пошел. И пропал за поворотом.

Старик косил допоздна.

Потом пошел домой.

Дома старуха с нетерпением -- видно было -- ждала его.

-- К нам какой-то человек приезжал! -- сказала она, едва старик показался в воротчиках. -- На длинной автонобиле. Тебя спрашивал. Где, говорит, старик твой?

Анисим сел на порожек, опустил на землю узелок свой...

-- В шляпе? Старый такой...

-- В шляпе. В кустюме такой... Как учитель.

Старик долго молчал, глядя в землю, себе под ноги. Те-то вот и вспомнилась та странная схожесть, что удивила давеча днем. Теперь-то она и вспомнилась! Только... неуже же?!

-- Не Гринька ли был-то? Ты ничего не заметила?

-- Господь с тобой!.. С ума спятил. С того света, што ли?

С бабой лучше не говорить про всякие догадки души -- не поймет. Ей, дуре, пока она молодая, неси, не стыдись са дурацкие слова -- верит; старой -- скажи попробуй про самую свою нечаянную думу: сам моментально дураком ста.

-- Уехал он?

-- Уехал. Этто после обеда пошла...

"Неужто Гринька? Неужто он был?"

Всю ночь старик не сомкнул глаз. Думал. К утру решил: нет, похожий.

Мало ли похожих! Да и что бы ему не признаться? Мо, душу не хотел зазря бередить? Он смолоду чудной был...

"Неужто Гринька?"

Через неделю старикам пришла телеграмма:

"Квасову Анисиму Степановичу.

Ваш брат Григорий Степанович скончался двенадцатого. Просил передать. Семья Квасова".

Брат был. Гринька.

Жил человек...

Вот как бывает... Вчера видел человека, обедал с ним по соседству, потом курили в курилке... У него больное серд, ему тоже не надо бы курить, но русский человек как-то странно воспринимает эти советы врачей насчет курева: слушает, соглашается, что -- да, не надо бы... И спокойно курит. Мы про это курево много толкуем в курилке -- иро.

-- Не пей, не кури, -- насмешливо говорит какой-нибудь закоренелый язвенник, -- а чего же тогда остается?

Тут чуть не хором все:

-- По одной доске ходи -- на цыпочках!

-- Смоли да к стенке станови.

-- А если я вот с таких вот лет втянулся в эту гадость?! Ку я теперь без этого?

Наговоримся так, накуримся всласть, и пойдут разгово в сторону от курева, в жизнь вообще: разные случаи вспоминаются, разные смешные истории... А иногда и не смешные. Один был -- сухонький, голубоглазый, все покаш... А покашливал очень нехорошо: мелко, часто -- вроде прокашляется, а в горле все посвистывает, все что-то там мешает ему, и никак он не может вздохнуть глубоко и вольно. Когда он так покашливал, на него с сочувствием поглядывали, но старались, чтобы он не заметил этого со­чувстви -- он не нуждался в нем. Один раз он отматерил ка-то в полосатой шелковой пижаме. Тот вылетел с сострадательным поучением:

-- Вам бы не надо курить-то...

-- А чего мне надо? -- спросил тот, глядя серьезно на по.

-- Ну, как?.. Не знаю, чего надо, но курить...

-- Не знаешь, тогда не вякай, -- просто сказал больной человек с синими глазами. -- А то много вас -- с совета... -- и он еще сказал полосатому несколько разных слов -- выругался, но ругался беззлобно, не грязно -- полу больше, что он всю жизнь свою целиком отматерил -- за все, и за то, что под конец пришлось еще сидеть и вот так "кафыркать" и терпеливо ждать. Но он же и пони, что жизнь его, судьба, что ли, -- это нечто отдельное от него, чем он управлять не может, поэтому злиться тут бес, и он не злился. Он рассказал, например:

-- Пришел с войны, из госпиталя, тут -- никого: мать померла в войну, так, брата убило, отец еще до войны по. А домишко, какой был, сломали: какую-то площадку надо было оборудовать для обороны... под Москвой здесь... Так? А я на костылях -- одна нога по земле волокется. На лед на реке рубить. Костыли так вот зажму под мыш, ногу эту неподвижную -- назад, чтоб по ей топором не тяпнуть, упру костыли в ямки, наклонюсь -- и долбаю, пока в глазах не потемнеет. А потом -- сижа: костыли под зад, чтоб ко льду не примерзнуть -- и тоже... А жил у сторожихи одной, у старушки. У ей у самой-то... с тамбур жилья, но уж... куда тут деваться. На полу спал, из двери -- по полу -- холод тянет. Маленько сосну с вечера, а часа в три просы от холода, иду забор потихоньку тревожить: доски три оторву -- и в камелек. А она, сторожиха-та -- так: глянет выйдет и снова к себе. Один раз проснулся -- ее нету. Я оделся и покостылял к забору... Только оторвал одну доску, слышу -- бах! Аж щепки полетели от забора у меня над го -- дробью саданула... -- рассказывая это, синеглазый все покашливал, и это делало рассказ его жутким. А тут он, как дошел до этого места, когда бабка шарахнула в него со, тут он засмеялся -- хотел, чтоб это выглядело забав, и мы бы тоже посмеялись. Но -- засмеялся и закашлял, и так, покашливая и посмеиваясь, досказал:

-- Я кричу: Глебовна, ить я это! Ну, услышала голос, узнала... Чуток бы пониже взяла, аккурат бы в голову угоди. Я, говорит, думала: лезет кто. А чего там брать! Эти... заводы демонтировали и свозили, и валили пока в кучу -- же...

-- Ну да, у ней же инструкция!

-- Конечно. Стрелять еще умела!..

-- Она боевая была старуха, -- продолжал синеглазый ве, довольный, что заинтересовал своим рассказом; он во не жаловался. -- Много мне порассказывала ночами, пока, бывало, у камелька-то сидим. А уж к весне мне обще дали -- легче стало.

-- Ну, и нога, наверно, стала подживать.

-- Ногу я еще года полтора после этого... Главно, болеть не болит, а двигать ей не могу.

-- Это многие тогда так, года по три с костылями хо.

-- Да...

Накануне он мне рассказал анекдот. Он любил слушать анекдоты, смеялся потихоньку, когда в курилке рассказыва, но сам, я не слышал, чтоб рассказывал всем. А тут мы ждали очередь к телефону, он меня притиснул в уголок и то, неумело рассказал:

-- Ворона достала сыр, так, села на ветку -- и хочет уже его... это... клевать. Тут лиса: спой. А ворона ей: а ху-ху не хо-хо? Зажала сыр под крыло и говорит: теперь давай потол. Тогда лиса...

Тут подошла его очередь звонить.

-- Вам, -- сказали ему.

Он скоренько сунул монетку в узкий ротик телефона-ав и стал набирать номер. Он еще машинально улыбал, думая, наверно, о вороне, которая натянула нос хитрой лисе.

А потом я звонил... Я говорил, а краем глаза видел сине: он ждал меня, чтобы досказать анекдот. Смотрел на меня и заранее опять улыбался своими невыразимо прекрасными, печальными глазами. Но тут его куда-то позвала сестра. Он ушел.

Этой же ночью он умер.

Я проснулся от торопливых шагов в коридоре, от тихих голосов многих людей... И почему-то сразу кольнуло в серд: наверно, он. Выглянул из палаты в коридор -- точно: стоит в коридоре такой телевизор, возле него люди в белых халатах, смотрят в телевизор, некоторые входят в палату, выходят, опять смотрят в телевизор. А там, в синем, как ку неба, квадрате прыгает светлая точка... Прыгает и ос за собой тусклый следок, который тут же и гаснет. А точечка-светлячок все прыгает, прыгает... То высоко прыг, а то чуть вздрагивает, а то опять подскочит и следок за собой вытянет. Прыгала-прыгала эта точечка и останови. Люди вошли в палату, где лежал... теперь уж труп; те выключили. Человека не стало. Всю ночь я лежал потом с пустой душой, хотел сосредоточиться на одной ка-то главной мысли, хотел -- не понять, нет, понять я и раньше пытался, не мог -- почувствовать хоть на миг, хоть кратко, хоть как тот следок тусклый, -- чуть-чуть бы хоть высветлилась в разуме ли, в душе ли: что же это такое бы -- жил человек... Этот и вовсе трудно жил. Значит, нуж, что ли, чтобы мы жили? Или как? Допустим, нужно, что мы жили, то тогда зачем не отняли у нас этот проклятый дар -- вечно мучительно и бесплодно пытаться понять: "А зачем все?" Вон уж научились видеть, как сердце останав... А зачем все, зачем! И никуда с этим не докричишься, никто не услышит. Жить уж, не оглядываться, уходить и уходить вперед, сколько отмерено. Похоже, уми-то -- не страшно.